

СУДЬБЫ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА

А.С. КАРПОВ

Кафедра русской и зарубежной литературы
Российский университет дружбы народов
Ул. Миклухо-Маклая, 6, 117198 Москва, Россия

"Закат Европы" - слова, вынесенные О. Шпенглером в название его труда (1921 - 1923), выразительно характеризовали мироощущение, все более укреплявшееся в XX веке. Порождалось оно состоянием мира, все отчетливее противостоявшего человеку, характером исторического развития, все более утрачивающего смысл. В результате возникает ситуация выбора и одновременно - вызова и бунта. Выбора между светом и тьмой, жизнью и смертью, вызова обществу и самому себе, обретающего вселенский размах бунта, направленного против всего мироустройства. В этих условиях было особенно важно - и особенно трудно - не поддаться соблазну убежденности в коренной порче человеческого характера, подкрепляемой послереволюционной ситуацией, воспринимаемой как апогей национального самоотрицания и саморазрушения, а с другой - как сбывшиеся чаяния нового мира. Есть у этой проблемы и другая - важная в особенности для России - сторона, о которой напоминал, например, Н. Бердяев в статье "Русский соблазн": "Россия стоит в центре Востока и Запада, она узел всемирной истории, и в ней только может синтетически разрешиться вековечная распря". И далее: "Новое творческое национальное самосознание не может быть ни славянофильским, ни западническим, оно не рабствует ни у восточной стихии, ни у западного сознания. Преодоление славянофильства и западничества и будет показателем наступления нашей национальной зрелости, национального самосознания" [1, т. 2, с. 437].

Выход к постижению национальной зрелости связывается с возможностью - и необходимостью - осознания того, что позволяет личности выстоять, сохранить в себе душу человеческую. Здесь прежде других вспоминается имя М. Горького, утверждавшего, что настала пора нужды в героическом, создававшего образы людей, способных противостоять силе давящих его обстоятельств. Но и А.Куприн говорил в 1913 году: "Меня влечет к героическим сюжетам. Нужно писать не о том, как люди обнищали духом и опошлели, а о торжестве человека, о силе и власти его" [2]. Стремление постичь, чем обусловлена эта сила, и определяет творческий облик крупнейших русских писателей указанного периода. Разумеется, в первую очередь следует в этом случае говорить о персонажах, которые населяют их произведения и привлекают добротой, душевным теплом ("Веселый двор", "Худая трава"), но еще - незаурядным мужеством, нравственной стойкостью ("Сверчок"), глубокой духовностью природы, творческим талантом ("Лирик Родион"). Особенно значителен в этом смысле рассказ И. Бунина (а именно о нем идет сейчас речь) "Захар Воробьев", герой которого - крестьянский богатырь, нелепо растрачивающий свои недюжинные силы.

Рассказ этот проясняет характер общеполитической идеи писателя, и не его одного. Пожалуй, наиболее ярко выявлена она в путевых очерках "Тень птицы". Размышляя здесь о страданиях, жертвах, крови, которыми сопровождается исторический путь человечества, писатель не утрачивает веры в постоянное обновление мира, где рядом с гибелью всегда - рождение и ничто не исчезает бесследно: наследие веков формирует опыт поколений. Все великие общества, цивилизации, всегда имели "в основе своей служение только солнцу" [3, т. 2, с. 31].

При обращении к русской литературе первой трети XX века, наследующей и продолжающей великие традиции реализма, к сложившимся здесь представлениям о родственной человеку, единокровной ему мировой жизни, о мировой душе, раньше других вспоминается имя Вл. Соловьева, утверждавшего "всеединство" абсолютных величин: Бога, Природы и Человека, но прежде всего Истины, Добра и Красоты. Наиболее полно это мироощущение реализуется при изображении природы: звезды, небо, широкие открытые пространства способствуют выявлению истинных масштабов, системы ценностей создаваемого писателем художественного мира. Но даже если на первом плане повествования открывается окружающий человека мир, то он, как правило, - лишь средство, способствующее развитию темы "космического бытия", выявлению трагедийно-экзистенциалистской концепции мира. Это в особенности характерно для И. Бунина, в эсхатологических категориях "космизма" в самый разгар первой мировой войны обнаруживающего катастрофичность своей эпохи ("Господин из Сан-Франциско"). Стремление, ни в чем не нарушая правды жизни, выйти к ощущению и осознанию ее целостности свойственно и входившему в литературу в начале XX века Б. Зайцеву. Ю. Айхенвальд - критик, который проникновеннее и точнее многих других судил о творчестве писателя, - заметил: "Зайцев - и человек, и мир, слитые в единой жизни. При этом показано, как мир входит в человека, как стихия пробирается в единичный мозг, раскалывается на отдельные личности... Зайцев переживает проникновение человека единой жизнью, великим Всем... И крупное, и деталь Зайцев неуклонно вплетает в универсальное целое, и при таком мировоззрении из мира исчезает мелкое: все важно, все значительно, все свято" [4, с. 502, 504].

Стремление к выявлению универсального смысла воссоздаваемых писателем коллизий - характерная особенность русской реалистической литературы уже в начале XX века. Показательная в этом смысле фигура - А. Куприн, в произведениях которого возникает мотив человека, вступающего в противоречие с человечеством. При этом писатель не теряет веры в возможность достижения отдельной личностью поставленной ею пере собой благородной цели. Не теряет веры в то, что начало полноценного Я, свойственное лишь избранныкам духа, присутствует как возможность, хотя и глубоко схороненная, в каждом человеке, и что историческому процессу доступно пробудить эти возможности. Отсюда - переоценка "маленького" человека, например, в рассказе "Гамбринус". Традиционный "маленький" герой, кроткий, беззащитный, способный внушать лишь сострадание ("Святая ложь", "Телеграфист"), не исчезает из творчества писателя, но теперь в персонаже, который изображается им, живет и пафос гордого человека, способного не только на красивые слова, но

и на смелый поступок. Примечательно, однако, что смысл его качественно иной, нежели, например, у Горького: просветленная мысль, творческий талант, душевная мощь - во всех этих свойствах крупной личности Куприн видит проявление не верности единственно верной идее, а - творящей силы природы, силы, на пути которой стоит история. Так, в фантазии "Королевский парк" "гений человека смягчил самые жестокие климаты, осушил болота, прорыл горы, соединил моря, превратил землю в пышный сад и в огромную мастерскую и удесятирил ее производительность", но все это обернулось "скучной социалистической идиллией, вслед за которой все человечество в каком-то радостно-пьяном безумии бросилось на путь войны, крови, заговоров, разврата и жестокого, неслыханного деспотизма" [5, т. 4, с. 481].

Замечательный русский мыслитель В. Розанов, игравший заметную роль в литературном процессе начала XX века, характеризуя три фазы развития человечества, определял их как периоды "непосредственной первоначальной ясности, падения, возрождения..." [6, с. 66]. Это находит своеобразное отражение в русской литературе: если Толстой, изображая хаотические состояния, тяготел к органике, к ладу, показывая, как создается новый национальный мир, то внимание Достоевского привлекают более всего ситуации неопределенности, непредсказуемости - те, где верх одерживают силы хаоса. В русской реалистической литературе начала XX века запечатлен мир, где гармония разрушена, царит беспокойство, раздражение. В этих условиях лучшие умы - и в литературной среде тоже - не могли не задумываться о путях, которые могут привести к возрождению, торжеству светлых начал жизни.

Пути исканий субстанциональной истины в русской реалистической литературе предреволюционных лет были у писателей сходными в главном и вместе с тем глубоко индивидуальными. Разным было, например, отношение к исторической истине. У И. Бунина сложно переплетаются пристрастие к вечному и привязанность к временному, отчуждение от истории и захваченность ее потоком, мрачно катастрофическая философия истории (в особенности в годы первой мировой войны) и светло пантеистическая философия природы, и поиск пути, на котором они могли бы примириться. А. Куприн же все меньше верит в исторический прогресс, ему не чужда мысль о "естественном", удаленном от цивилизации состоянии, о прошлом, "когда так радостно и легко жили люди, веселые, радостные, свободные и мудрые, как звери!" ("Листригоны"). Писателя все более занимает мысль о непостижимой сложности России и русского национального характера. "Нет, Россия это не Европа и не Азия, - говорил он, - это страна самых неожиданных решений, это страна Степана Тимофеевича, где жадность и самоотвержение, подлость и бесстрашие, трусость и презрение к смерти так удивительно переплелись, как нигде в мире" [7, с. 145]. Писатель обращается к самым трудным проблемам эпохи. В рассказе "Мелюзга" учитель Астреин и фельдшер Смирнов спорят о русском народе, о русской истории, о загадочности психики русского мужика, о его надежде на чудо. Этот спор заставляет вспомнить о других нескончаемых спорах, что ведут в бунинской "Деревне" Тихон и Кузьма Красовы, "базарный вольнодумец и чудаки, старик-гармонист" Балашкин с его словами: "Теперь-то уж и впрямь шабаш, во весь дух ломим назад, в Азию!"

Но горечь, порождаемая осознанием того, сколь скорбным является исторический путь человечества, отступает перед отрадным чувством: мир постоянно обновляется, рядом с гибелью всегда - рождение. И хотя "время разрушает стены, мечети, кладбища, - как говорится в "Тени птицы" И. Бунина, - жизнь творит неустанно". Но осознание этого приходит лишь с укрупнением масштабов художественного мышления, что свойственно русской реалистической литературе предреволюционного периода. Даже у "бытовика", как называла его критика, И. Шмелева главный персонаж повести "Человек из ресторана" (1911) официант Скороходов начинает видеть гораздо шире и глубже, нежели ранее, - происходит "проникновение наскрозь".

Упомянутое выше укрупнение масштабов художественного мышления в русской литературе начала XX века напрямую обусловлено ощущением неизбежно надвигающихся коренных перемен в жизни народа, общества. Об этом писал Толстой в статье "Конец века" (1905): "Век и конец века на евангельском языке не означает конца и начала столетия, но означает конец одного мировоззрения, одной веры, одного способа общения людей и начало другого мировоззрения, другой веры, другого способа общения" [8, т. 36, с. 231]. Об этом размышлял и М. Горький в письме к К. Пятницкому в январе 1901 года, предсказывая скорое наступление времени, когда "в конце концов - одолеет красота, справедливость, победят лучшие стремления человека" [9, т. 28, с. 150]. О том, что значительность пережитого нами мгновения истории равняется значительности промежутка времени в несколько столетий, писал и А. Блок [10, т. 6, с. 154].

Важно было в условиях этих глобальных по своей масштабности сдвигов не потерять антропологическую тенденцию, которая является неотъемлемой чертой русского реализма XIX века. Человек всегда был в центре внимания литературы, но в эпоху, о которой идет здесь речь, убежденность в его самоценности требовала новых доказательств. Значение человека как природного существа все более подвергается сомнению, судьба его все более осознанно и отчетливо вписывается в сферу духовно напряженного жизненного и нравственного опыта человечества. Это нашло выражение уже в творчестве Л. Толстого и Ф. Достоевского с их страстными поисками универсальных решений проблемы бытия и человека. Отсюда - свойственная русской литературе начала XX века убежденность в органической связи индивидуального с универсальным, лежащим в основании личности, в которой эгоистическое уступает место всечеловеческому. Конкретно-историческое на новом этапе литературного развития не исчезает, более того, проявляется чрезвычайно ярко, выразительно, но напрямую выводит к субстанциальному.

Укрупнение проблематики, прямой выход к решающим - вечным - проблемам человеческой жизни, к осмыслению сущностей бытия особенно заметно в творчестве русских писателей, оказавшихся в вынужденной эмиграции, сполна познавших, что такое одиночество, и пытавшихся преодолеть его. Неизменным остается для них сознательная ориентация на реализм классического типа: они нигде не выходят за рамки правдоподобия, стремясь к художественному познанию первооснов бытия и психологической сущности личности. Свойственный, например, В. Набокову интерес к подсознанию, к исследованию разрушаемой происходящими в жизни процессами человеческой психики (а это

тоже - существенная примета времени) остается чуждым для писателей, сформировавшихся в дореволюционную эпоху: для И. Бунина и Б. Зайцева, для И. Шмелева и А. Куприна... Особенно ярко проявляется это в их созданных на автобиографическом материале произведениях: в "Жизни Арсеньева" И. Бунина, "Лете Господнем" И. Шмелева", тетралогии "Путешествие Глеба" Б. Зайцева, "Юнкерах" А. Куприна. Эти произведения представляют собою не просто рассказ об одной (подчеркнем: в главном ее содержании - собственной) жизни, но - о жизни человека, формирующегося и живущего в условиях XX века. Вот почему столь явственно выражено в их творчестве желание, рассказывая о прожитом каждым из них, любовно восстанавливая (но также - сохраняя в памяти потомков) милые сердцу детали, подробности стремительно уходящего в прошлое времени, вместе с тем выявить истинный, основополагающий в жизни человека смысл этих мелочей. Временное, как было сказано выше, буквально просвечивает вечным, а за этим встает столь чаемое бессмертие. Русская литература в ее лучших образцах всегда была философична, расширяя не только пространственно-временные, но и онтологические рамки изображаемого мира. А это в значительной мере предопределяет пути, которыми пойдет отечественная литература в XX веке. Столь явственно обнаруживающейся в эту эпоху тенденции к разрушению быта (а затем и разрушения бытия), отзывающейся разрушением личности, болезненно переживающей ситуацию отчуждения от мира, писатели стремятся противопоставить идею "всесветного единения" (Вяч. Иванов). Но свое осуществление она находит не в отвлеченных (логических) построениях, а в изображении жизни, какой она была и должна быть: реальное и идеальное соединяются в таком случае органически. Происходит это потому, что само стремление понять смысл назначения человека и его место в мире обостряется в эпоху, когда у него (человека) буквально начинает ускользать почва из-под ног - а именно это характерно для XX века. Процессы, происходившие в послереволюционной России, приводят Н. Бердяева ("Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Разложение человеческого образа", 1923) к убеждению в том, что здесь "кризис гуманизма острее, чем где бы это ни было на Западе", и объясняет он это тем, что здесь человек "себя освобождает от высшего, сверхчеловеческого содержания и ничего в себе не находит, кроме своего замкнутого человеческого мирка. Утверждение человеческой индивидуальности предполагает универсализм" [1, т. 1, с. 405, 402].

Последнее особенно важно: человек оказывается для философа, чьи позиции были близки персонализму, высшей мерой оценки состояния мира в пору, когда сомнению подвергались гуманистические основы его существования. Свобода и личность - вот главные продукты духа, обретающие для Н. Бердяева абсолютную ценность. На этой позиции стоят и русские писатели: их убежденность в самоценности личности основывалась на понимании того, что индивидуальный (личностный) мир неисчерпаемо широк, потому что процесс становления (жизни) человека есть, в сущности, процесс освоения им мира, процесс преодоления первородного одиночества. Поэтому-то и у И. Бунина, и у Б. Зайцева, и у И. Шмелева пространство повествования расширяется до бесконечности, а возникающий на его страницах человек предстает - с большей или меньшей отчетливостью - в качестве человека как такового. Если говорить о И. Буinine, то это отчетливо сказывается и в "Жизни Арсеньева", и в рассказах,

собранных в книге "Темные аллеи": в отличие, например, от "Деревни" или "Суходола", здесь воспроизводится не просто эпоха, но - жизнь человеческая, в которой находит воплощение идея завершенности "круга земного бытия".

Исключительность, художественная оригинальность произведений, принадлежащих названным выше художникам, которые живут и творят в пред- и послереволюционную эпоху, объясняется тем, что они работали на границах быта и бытия, мига и вечности. Мгновение человеческой жизни невосвратимо и для Алексея Арсеньева ("Жизнь Арсеньева"), и для маленького Вани ("Лето Господне"), и для Глеба ("Путешествие Глеба"), а бесценность обусловлена тем, что она единственна и неповторима. Все внутренние ресурсы писателя вложены им в одно душевное движение, в одну мысль. Для обретения всеобъемлющего, полноценного представления о действительности автор погружается (здесь уместно вспомнить об автобиографической трилогии Л. Толстого) в сознание героя, наделенного поэтическим мироощущением, которое выявляется в образах "незаметных" (созерцание окружающего) и открытых (музыка, литература). Эпическая экстенсивность описания в этом случае соединяется (в особенности у И. Бунина и Б. Зайцева) с лирической недоговоренностью. В нравственно-эстетическом звучании "Жизни Арсеньева", в философской "Ночи", в грустной "Розе Иерихона" - во всех этих произведениях И. Бунина с огромной силой выражено чувство, без остатка владеющее им, - чувство любви к Родине, источнику всех надежд, радостей и тревог. Но им же рождена и память о прошлом, которая оказывается для человека источником знаний о мире и одновременно обуславливает его творческий потенциал. Память является залогом вечности жизни, безмерно широко раздвигая рамки отпущенного ему времени. Важно и другое: именно благодаря памяти человек - у И. Бунина, И. Шмелева, Б. Зайцева и др. - способен обнаружить универсальность всеобщих связей в мире.

В русской литературе XX века проза частично утрачивает (и это особенно заметно при обращении к произведениям, созданным на автобиографической основе) эпические свойства, обретая признаки лирических произведений, со свои субъектом, явное присутствие которого в тексте - даже если повествование ведется от третьего лица - в значительной мере определяет его (повествования) смысл и тональность. Так сказывается одна из существенных закономерностей развития литературы в новое время - усиление в ней личностного, авторского начала [См.:11, с. 172]. Характерный пример тому - повесть Б. Зайцева "Голубая звезда" (1918), где главное - постижение внутреннего мира центрального героя в его сложной соотнесенности с миром - природой, космосом и внутренними мирами других героев. В таком повествовании на роль доминирующего претендует - и в этом сказывается характерная особенность нового времени - не историческое, а личностное время: историческое время (напомним об эпохе, в которую создавалась эта повесть Б. Зайцева) еще стабильно, исторические потрясения, которые наступят скоро, лишь предчувствуются.

Отмеченная особенность прозы нового времени по-своему проявляются и у И. Бунина. На это обратил внимание, подводя итоги творчества писателя, В. Вейдле: в сравнении с "предельно-предметным и плотным" стилем "Деревни", "Суходола", "Хорошей жизни", "Веселого двора" в зрелой прозе И. Бунина открывается новая грань его стиля, проникнутая особенным - "сверхвещным",

"сверхпредметным" лиризмом. Бунин пытается выразить происходящее в нем посредством того, что происходит вне его, во внешнем мире... И клубничный нос нищего, и перламутровые щеки селедки становятся выражением чего-то происходящего в душе героя, да и весь опыт молодой жизни переливается в "повесть о самом себе", где и в самом деле "выражена только поэтичность или, лучше сказать, поэзия этого опыта" [12, с. 90].

В русской реалистической литературе XIX века утвердилось представление о слове как форме выражения сознания человека. Исходной в филологическом осмыслении этого является концепция диалога, которая начинает разрабатываться М. Бахтиным в 20-е годы. В ее основе лежит понятие "субъект", а исходным здесь оказывается содержащееся в трудах А.А. Потебни представление о слове как смысле. В художественном произведении в этом случае выделяются два равноправных субъекта речевой деятельности - автор речевого акта и слушающий. Произведение, таким образом, оказывается местом, где встречается "свое" и "чужое" слово и сознание.

По словам А. Потебни "... дух без языка невозможен, потому что сам образуется при помощи языка, и язык в нем есть первое по времени событие" [13, с. 57]. Обнаруживаемая таким образом онтологическая природа слова служит утверждению столь важной для понимания идеи всеобщей диалогической связанности внутри текста, где семантико-стилистическим центром является автор. Существенно важным оказывается при этом принадлежащее М. Бахтину разделение слов, которые вместе и составляют текст, на авторитарные и внутренне убедительные. "Авторитарное слово требует от нас признания и усвоения, оно навязывается нам независимо от степени его внутренней убедительности для нас", "требует от нас безусловного признания", оно "не изображается - оно только передается". Иная роль у внутренне убедительного слова. Как сказано в статье "Слово в романе" (1934 - 1935), "творческая продуктивность его заключается именно в том, что оно пробуждает самостоятельную мысль и самостоятельное слово", "оно обращается к современнику и к потомку как к современнику; для него конституитивна особая концепция слушателя - читателя - понимающего" [14, с. 155-157].

Внутренняя убедительность слова свойственна реалистическому искусству, и обуславливается это стремлением автора, обращаясь к читателю, активизировать его сознание. Эта традиция подхвачена и получает развитие в новую эпоху. Обнаруживается это прежде всего в том, что все конфликты - социальные, эпические и даже эстетические - подчинены теперь раскрытию человеческой судьбы. Но сама эта судьба (точнее - судьбы) складывается иначе, нежели это было в XIX веке, иным содержанием наполняется жизнь, качественно иной характер обретают драмы, лежащие в основании произведений. Драматизм этот объясняется резкими разломами в жизни тех, кому пришлось жить в эпоху войн и революций, ощущая себя представителями поколения, которому нужно искать свое место в новой истории. Но острота такой ситуации усиливается еще и тем, что в каждом из них девятнадцатый век объединен с двадцатым, русский человек, вполне сформировавшийся в иной по времени и содержанию эпохе, - с человеком, выросшим в условиях европейской духовной жизни 20-30-х годов нового века. Выведенные в произведениях писателей нового времени персонажи могут жить в относительно замкнутом пространстве, но уже, с авторской точки

зрения, принадлежат к поколению, которое в двадцатом веке будет названо "потерянным". Развитие, обогащение реализма, таким образом, имеет в своей основе стремление художников к раскрытию новых черт складывающейся в XX веке личности, ее отношения не только к настоящему, но и к прошлому, отмеченному полнотой восприятия жизни, насыщенностью жизненными впечатлениями. Осознающие трагизм положения человека в XX веке писатели пытаются преодолеть его обращением к духовной жизни, к памяти, поэтизацией быта. И потому-то, продолжая реалистические традиции русской литературы, они выходят к экзистенциальной проблематике, столь мощно представленной в мировой - в том числе и в отечественной, литературе XX века.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В двух томах. - М., 1994.
2. Фрид С. У А.И. Куприна // Биржевые ведомости. - 1913. - 21 сентября.
3. Бунин И. Собрание сочинений: В 4 томах. - М. - 1988.
4. Айхенвальд Ю Борис Зайцев // Зайцев Б. Собрание сочинений: Улица святого Николая. - М.: 1999.
5. Куприн А. Собрание сочинений: В 6 томах. - М.: 1957-1958.
6. Розанов В. О Достоевском // Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. - М.: 1990.
7. Горьковские чтения: 1964-1965. - М.: 1966.
8. Толстой Л. Полное собрание сочинений: В 90 томах: Юбилейное издание. - М.-Л.: 1928-1958.
9. Горький М. Собрание сочинений: В 30 томах - М.: 1949-1956.
10. Блок А. Собрание сочинений: В 8 томах. - М.-Л. - 1960-1963.
11. Лихачев Д. Будущее литературы как предмет изучения // Новый мир. - 1969. - № 9.
12. Вейдле В. На смерть Бунина // Опыт. - Нью-Йорк. - 1954. - № 3.
13. Потебня А. Эстетика словесного творчества. - М.: 1976.
14. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. - М. - 1975.

THE DESTINY OF REALISM IN RUSSIAN LITERATURE OF THE FIRST THIRD XX-th CENTURE

A.S. KARPOV

Department of World Literature
Peoples Friendship University of Russia
Miklukho-Maklaya st., 6, 117198, Moscow, Russia

The article is concerned with the sense and peculiarities of Russian literature in its attempts to withstand the destructive tendencies of this period.